

Попов &  
спрашивает.

20/10 88

БЕСЕДА

за рабочим столом

Евгений ПОПОВ:

ПРЕКРАСНОСТЬ  
ЖИЗНИ,

ИЛИ

ПОИСКИ СМЫСЛА ПРОЧНОСТИ

НЕМНОГО о личности автора. Он родился в Сибири в семье бедного отца, который не дослужился до чаемых чинов по не зависящим ни от кого обстоятельствам. От матери автор унаследовал любовь к художественной литературе и к СССР. В детстве слушал сказки. Где живет и работает старшая сестра автора, он не скажет, потому что она скромный человек и это может огорчить ее. У автора много друзей. У него есть жена. Автор образован. Он закончил школу и Московский геологоразведочный институт. В 1956 году автор написал письмо в одно из издательств, что для детей выпускают мало высокохудожественной литературы, и с тех пор имел от указанной литературы многие практические печали, изредка перемежаемые яркими вспышками прекрасности.

На этом месте прервем иронические рассуждения автора о себе. Впрочем, объективности ради скажем о нем еще несколько слов.

Итак, автор, в дальнейшем именуемый также Евгением Поповым. Живет в Москве. Дебютировал в 1978 году подборкой рассказов в «Новом мире». Автора заметили. Рассказы высоко оценил не щедрым на похвалу Василий Шукшин. Он же, предвещая автору трудную литературную судьбу, оказался прорицателем...

Я пребывала в некотором затруднении — с чего начать беседу? С громкого дебюта или с минувшего года, подарившего писателю большие подборки в «Новом мире», «Знамени», в периодике, встречи с читателями, одним словом, успех, признание? А может быть, с длительной «творческой паузы»? Пожалуй, начнем с нее. А заодно скажем правду, ведь фигура умолчания нынче вышла из моды. «Творческая пауза» — полагаю, что еще в столь недавние времена мы именно так бы охарактеризовали те десять лет, когда имя Попова исчезло с газетных и журнальных страниц, не успев появиться на страницах книжных, — была вынужденной по причине участия автора в альманахе «Метрополь». Но времена, несомненно, меняются к лучшему. Сегодня многие участники «Метрополя», в том числе и наш автор, активно вписываются в современный литературный процесс.

Впрочем, дадим слово автору. Судя по всему, он к себе относится неплохо. — Мне 42 года, пишу я лет с 15. Сначала это были короткие рассказы в духе Паустовского, каждый из которых я писал, отделивая по 3—4 месяца. Эскизы, этюды... В середине 60-х годов что-то во мне повернулось, и пошла вот эти самые трагикомические истории, которые публикуются практически только сейчас и довольно широко: у меня за минувший год напечатано больше, чем за все предыдущие годы моей «литературной деятельности». А тогда это вызывало шок. Помню, сочувствующая редакторша предложила мне «генеральный ход». Женя, мы издадим ваш сборник, но вы должны переписать рассказы, чтоб их действие происходило в... Америке, такие ваши герои не пройдут. Не прошли в издательстве, прошли в жизни. Наркоманы, проститутки, фарца, чиновничьи рыла — целый букет «цветов зла», аромат которых мы теперь вдыхаем.

— Как на ваше творческое развитие повлияла «вынужденная отставка», полученная в конце семидесятых? — Мне вдруг надоели сии персонажи. Я

понял, что к двумстам примерно рассказам, что были мною к тому времени написаны, я могу прибавить еще столько таких же. Благо, производство отлажено. Придумывается или узнается какая-нибудь история, чаще всего дикая, осмысливается, описывается по возможности хорошо, качественно и — готово. Мне стало скучно, да к тому же обстоятельства и неудачи раздражали чрезвычайно. И я стал писать рассказы, маленькие повести, нарочито «занудные», эпатирующе-паралитературные, где вводилась персона автора, можно было при желании узнать прототипы, зачастую довольно известные. Венцом этого «периода» был роман в письмах «Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину», где я полностью выложился в правилах той игры, которые сам себе задал. После чего опять потонуло на краткую «мясную» прозу, но я заработанного не хотел терять. Поэтому недавно законченная вещь с длинным названием «Прекрасность жизни. Главы из «романа с газетой», который никогда не будет начат и закончен» — главная для меня, синтез всего, что я делал и делаю. Эта книга в 600 машинописных страниц охватывает период с 1961 по 1985 год. В каждой из ее глав, нумерация которых совпадает с соответствующим годом, — рассказ, написанный в этом году, обильная газетная цитация того времени и один из «новейших» рассказов. Не знаю, что из этого получилось, пусть судят читатели.

— Теперь мне становится ясным прискорбное странное на первый взгляд название «Светлый путь». Это рассказ-мозаика, коллаж, игра, в котором из взятых вперемешку цитат можно почерпнуть массу полезных сведений — от плохого качества строительства Северного жилого массива в Ростове-на-Дону до воспоминаний народной писательницы Турименистана. Рассказ отразил ваш «роман» с «Литературной газетой» от 24 августа 1984 года. Что это? Поиски жанра, проба пера в новом направлении, которое можно условно назвать, скажем, так: реалистический модернизм?

— А если еще поточнее, если не играть словами — реализм жизни, усложнившейся и раздерганной необычайно. Разрешите потеоретизировать. Мне кажется, что публицистическая, просветительская струя искусства — лишь небольшая часть народного космоса, и в этом смысле Даниил Хармс, например, более народен, чем автор скучной, прилежно написанной эпопеи. Если цель произведения объяснить, что новый станок лучше, чем старый, то это произведение для дебилов, а если о том, что нехорошо красть, убивать, блудить, то это плагиат из Библии. Отсюда — крах традиционных форм и поиски новых, которые, я уверен, ближе к реализации народной жизни, чем «просветительские». Здесь элитарность более демократична, чем массовость. Возьмите русскую частушку, или «заветную сказку» Афанасьева, или современный анекдот — там «сюра» и абсурдизма больше, чем у Ионеско, Беккета и Роб-Гризе. И чему может научить писатель в конце XX века, когда он обладает практически той же степенью информированности, что и подавляющее число его читателей? Кончились времена, когда Лев Толстой «перелагал для народа». Народ сейчас/умен, зол, насмешлив. Писатель может увлечь только талантом. Пора оставить этот иррациональный тон, который задается «просветительскими сочинениями».

— Сегодня и в литературе, и в искусстве ощущается некая назревающая стилевая ломка, предпринимаются попытки

(хотя бы тех же ставших притчей во языцех метафористов) выработать новый язык, более соответствующий сознанию новых поколений. Вот и вы пришли к абсурдизму. Но начинали ведь как жесткий реалист. А один из самых ранних рассказов — «Обстоятельства смерти Андрея Степановича» — скорее даже натурализм, чем реализм. Впрочем, теперь, учитывая ваши пристрастия к «сюру», я начинаю думать, что и история с потерянными гробом Андрея Степановича — вымысел, фантазия, гротеск.

— Все, что описано в рассказе, было на моих глазах, включая потерянный гроб. Хотя, если бы этого не было, я мог бы выдумать. Литература выше любых утилитарных представлений о ней. Фантазия, гротеск, жестокий гуманизм «Чевенгура» А. Платонова — что это? Я не знаю. Я знаю, что это великий роман. А традиционные формы «Жизни и судьбы» В. Гроссмана погружают нас в такие бездны, которые, пожалуй, недоступны самому мрачному, раздерганному, асхатологическому сознанию и соответствующей манере письма. Время создало такие сюжеты, которые кажутся продуктом гротесковой фантазии, а присмотревшись — жизнь. Жизнь более фантастична, чем вымысел.

— Кстати, почему вы не ставите даты под рассказами? Они бы многое объяснили в вашей эволюции.

— Делаю это сознательно. Запоздалая дата как бы к чему-то взывает. Или к снижению ответственности по поводу несовершенства, или к тому, что — смотрите, я и тогда был смелый. Все должно идти естественным путем, хоть и с запозданием. Нет дат и под рассказами моей книги «Жду любви не вероломной», которая принята издательством «Советский писатель» и должна выйти в следующем году. Это будет моя первая книга. Маленький сборник сатиры и юмора «Чудеса в пиджаке» в Красноярск дважды набрали и рассыпали, пока не похерили окончательно лет 8 назад.

несмотря на усилия людей, мне сочувствовавших. «Жду любви не вероломной» состоит, за редким исключением, из старых рассказов, и так его составил я сам, потому что надеюсь — будут еще книги, и все в кучу мешать не хочу. Готовя рукопись к печати, я произвел незначительную правку, ибо устарели лишь отдельные реалии, а не коллизии.

— После длительной голодовки (имеется в виду «творческая пауза») набрались ли вы силы к удесятенной силе (имеется в виду большое количество публикаций ваших рассказов в последнее время). Но все-таки, продолжая гастрономические параллели, нужно помнить о форме и придерживаться хоть какой-нибудь диеты. Я илюю и тому, что не все, появившееся в периодике, считаю достоянием вашего таланта. Кое-что, как то рассказы «Иностранец Пауков», «Разор», «Криминальная история», представляются мне не бог весть какими удачными. А может быть, я ошибаюсь и вы мне объясните «сверхзадачу» этих вещей?

— «Разор» и «Иностранец Пауков» написаны лет 15 назад, и если вы не ошибаетесь, то это значит, что они заплеснавали от долгого хранения в непроветриваемом помещении. Иное дело «Криминальная история». Это тоже из книги «Прекрасность жизни». Вчитайтесь внимательно, и вы увидите, что это одновременно и рассказ, и пародия на подобные рассказы. Морализаторство, доведенное до идиотизма.

«Век двадцатый — век необычайный. Чем столетие лучше для истории, тем для современника печальней!» — писал Глазков. Меняю слово «историк» на «писателя» и получаю горькую аксиому. У нас, в нашей стране, писательская работа всегда напряженная и всегда духовная, иначе это вообще не работа. У нас только ленивому не о чем писать да тому, кто «изучает жизнь» в составе однодневных писательских «десантов». Как на снимках, которые до недавнего времени публи-

ковались вашей газетой: стоит рабочий, а вокруг него с весьма значительным видом писателя. У нас так — остановите любого прохожего, расспросите, как он провел вчерашний день, и садитесь писать «Улисса», материала хватит.

— Героев ваших рассказов — удивительно, сообщество странных, порой нелепых, порой трогательных персонажей — можно объединить вашей же фразой: «Им хочется счастья, а они идут в кино, и им опять хочется счастья». Непонятно только, откуда у таких беспросветных людей берется воля к жизни. А может быть, и это самое страшное, они не ощущают своей беспросветности?

— Все относительно, в том числе и «беспросветность». Полагаю, что после лагерных барачных комнат «за фанерной стеной» кажется райским уголком. А воля к жизни — понятие скорее биологическое, чем духовное. Люди закрепляются на каком-то жизненном пространстве, и достоинство их в том, чтобы жить в этом пространстве. «И крестьянки любить умеют», и в коммуналах бушуют шекспировские страсти...

— Другими словами — загадочный русский характер? Сейчас много говорят о его самобытности, хотя, полагаю, никто не может толком объяснить, что это значит. Вас, мне кажется, больше интересует «масочность» русского человека. В ряде античных масок — они смеются, плачут и плачут смеясь. Любопытен в этом плане рассказ из новинковской подборки «Сани и лошади». Это рассказ о жестокости, что, как маска у Кобо Абэ, вьедается в человеческое лицо.

— Объяснить невозможно, но самобытность, несомненно, существует в любом национальном характере — русском, французском и так далее. «Масочность» — лишь одна из граней. Однако сейчас я хочу сказать о другом.

Борьбу за самобытность русского характера признаю лишь в том высоком понимании этого процесса, которым обладали Лесков, Толстой, Чехов, Бунин, Третьяков, Замятин, Ремизов, Зощенко... Снижение этого — обывательский морок и мифотворчество. Лет десять назад мне позвонил пьяный аноним и сообщил, что я, русский человек, «продал еврейям Шукшину за мацу», я ему ответил, что Шукшин стоит дороже всех мировых запасов мацы, и аноним задумался. После публикации рассказа «Сани и лошади» меня как-то спросили, не боюсь ли я, что меня причислят к масонам. Я же масонов никогда в жизни не видел, хотя, имея бурную биографию, сталкивался с массой народу. Видел интеллектуалов, антисемитов, сионистов, западных корреспондентов, бичей, секретарей правления Союза писателей, редакторов, торговцев анашой, эзков, партийных работников, передовиков производства, «панков» и рок-музыкантов, а вот масонов не видел.

— Многие ваши рассказы воспринимаются как куски из пьесы. Вы так ловко и смело вводите в ткань прозы диалог, ваши вещи настолько выстроены драматургически, что за всем этим угадывается кровное родство с театром. Мою «прозорливость» подтверждает еще и тот факт, что в 1975 году вы участвовали во Всесоюзном совещании молодых писателей, именно как драматург.

— Ну, это чистая случайность. Просто для меня нашлось место именно в драматургическом семинаре. А вот роман с театром, не по моей воле, действительно начался в середине 70-х годов. Был и сейчас есть во МХАТ Михаил Анатольевич Горюнов. Он искал репертуар для театра. Ходил в «Новый мир», читал непрошед-

шие рукописи. Горюнов позволил мне в Красноярск и предложил написать пьесу. Я сказал ему тогда: может быть, вы меня заодно научите, как это делать? Это очень просто, ответил он. Берешь бумагу, слева пишешь: «Петя, Маша», справа — текст. Написал 20 листов, порвал, снова написал — и пьеса готова. Такой остроумный ответ мне понравился. И я стал писать пьесы. В 1975 году, когда из Красноярска переехал в Москву, начал ходить в студию Арбузова. Там же в ту пору занимались Славкин, Петрушевская, Розовский, Ставицкий, Кучкина. Атмосфера для меня была непривычно раскованной. Арбузов был добр, но иногда ссорился со студийцами, особенно с Петрушевской. Ссорился и помогал, как мог.

Давно это было, однако и сегодня самое интересное в культурной жизни Москвы, на мой взгляд, — театральные студии. Самая моя любимая студия называется «Человек». Недавно она гастролировала в Мюнхене, где большой успех имела пьеса Петрушевской «Чинзано», блестяще поставленная молодой актрисой и режиссером МХАТ Романом Козаком. Студию возглавляет Людмила Рошкова, это она пять лет назад взяла под свое крыло мхатовцев М. Мокеева, А. Феклистов, Р. Козака с их многострадальным спектаклем «Эмигранты». Работают они очень интересно. Недавно разыграли мою пьеску — пародию на водевиль — «Курячий ножки». Сейчас мы придумали балаганный, ярмарочный спектакль, что-то вроде концерта в ЖЭКе.

— О драматургии поговорили. А как дело обстоит с поэзией? Вы ведь пишете стихи?

— Стихи я писал лишь в утилитарных целях, дабы вкладывать их в уста своих персонажей. На этом поприще я добился немалых успехов, сочиняя несколько абсурдно графоманских поэм — «Гестаповец и волк», «Солдат и лесьбиянка», однако на звание поэта не претендую, это вы меня слушали с моим однофамильцем, живущим в Ленинграде. Но не Валерием Поповым, а тоже Евгением. Наша фамилия весьма распространена в России. «Это дело так же ново, как фамилия Попова», помните?

— Много лет назад прочитала рассказ «Варабанчик и его жена-барабанщица» и не могу забыть его. Замечательный рассказ. Но речь не о нем. Занимаетесь ли вы, как ваш герой барабанщик, «поисками смысла прочности» и в чем вы их видите?

— Смысл прочности — в стабильности гуманных отношений между людьми, в отсутствии всплеск дикости и варварства, будь то войны, «проработочные кампании», насилие над личностью, озлобленная вражда. Доброты мало в мире...

Но последние два года и сегодняшний день дают мне ощущение того, что я действительно являюсь гражданином страны, которая, я верю, «вынесет все». Хотя сопротивление процессу обновления страшно, иногда почти на грани гражданской войны, разворачивающейся в городах и всяких между патриотами и теми, кто дилемму «свету ли провалиться или вот мне чаю не пить?» решает в пользу чая. Из оптимистического пессимиста я превратился в пессимистического оптимиста, отчетливо понимающего, что если все мы будем сидеть сложа руки, прислушиваясь, «как там наверху», то свету провалиться и чаю никому не пить.

Беседу вел С. ТАРОЩИНА